

# СТАНИСЛАВ Говорухин

В  
Е  
Р  
Т  
И  
К  
А  
Л  
Ь

■ МЕСТО ВСТРЕЧИ  
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ■



Свидетель эпохи

Станислав Говорухин

**Вертикаль. Место  
встречи изменить нельзя**

«ЭКСМО»

2016

УДК 791.43.071.2(470)  
ББК 85.374(2)

**Говорухин С. С.**

Вертикаль. Место встречи изменить нельзя / С. С. Говорухин —  
«Эксмо», 2016 — (Свидетель эпохи)

ISBN 978-5-699-84330-5

Более полувека в искусстве, четверть века – в политике. Режиссер, сценарист, актер, депутат, доверенное лицо Владимира Путина и глава его предвыборного штаба в 2012 году. А еще Станислав Говорухин – художник (самая знаменитая его картина – та самая черная кошка из фильма «Место встречи изменить нельзя») и философ. В этой книге воспоминания Станислава Говорухина о себе и дорогих ему людях соседствуют с его размышлениями о жизни и кино, жанровыми сценками, даже притчами и частушками. Портреты Владимира Высоцкого и Николая Крюкова, Сергея Бондарчука, Вишневской и Ростроповича – рядом с зарисовками малоизвестных и вовсе безымянных героев. Сталинская и хрущевско-брежневская Россия перемешана с перестроечной и современной. Из этой мозаики постепенно складывается цельный, многогранный, порой противоречивый образ человека, ставшего безусловным символом отечественной культуры, свидетелем ее и творцом.

УДК 791.43.071.2(470)

ББК 85.374(2)

ISBN 978-5-699-84330-5

© Говорухин С. С., 2016

© Эксмо, 2016

## Содержание

Часть первая	6
Три России	6
У-У, арестант!	8
Ловлю мух	9
Первая любовь	11
В бараках	12
Учитель	15
Разочарование	17
Свидание	18
Как я стал режиссером	20
Одесса	21
Одесский Привоз	24
Пушкин	25
«Фиговые времена»	27
Тимофей Левчук	28
Артистка	29
Мужество	32
Каждое утро с одиннадцати	33
Великая княгиня	36
Париж, Париж	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# **Станислав Говорухин**

## **Вертикаль. Место встречи изменить нельзя**

© Говорухин С.С., 2016

© Издание, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

## Часть первая Рассказы. Эссе

### Три России

Мне довелось жить в трех эпохах. В сталинской России, в хрущевско-брежневской и в нынешней, криминальной стране.

Когда умер Сталин, я плакал. Плакала мама, у которой усатый вождь отнял мужа, плакала бабушка, прожившая при Сталине совсем не сладкую жизнь. Плакал весь народ, кроме тех, конечно, кто понимал, что происходит в стране. Но они в основном жили в столицах и были приближены к высшей иерархии или имели косвенное к ней отношение, как одна наша знакомая, отсидевшая десятку за то, что служила домработницей в семье Пятакова.

Плакали, правда, уже от радости – целые народы, по которым прошел сталинский каток, – чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки, крымские татары... Ну и, понятно, взревели от счастья два миллиона эков, сидевших в лагерях, – настоящие герои сталинских «пятилеток», построившие ДнепроГЭС и Беломорканал, Норильскникель и Джезказганские рудники, добывавшие стране руду, нефть, золото, серебро и вольфрам, «ковавшие Победу».

5 марта 1953 года мой друг, Вадим Туманов, шел в колонне колымских эков – на работы. Сзади кто-то шепнул ему:

– Вадим, слышал: Ус хвост отбросил!

Через минуту вся колонна заключенных бушевала от радости. Конвоиры стали стрелять по верху голов.

Были, были люди, кто понимал. Но 250 миллионов не понимали!

В 1949 году я обманул райком комсомола, прибавил себе год возраста, чтобы скорее стать комсомольцем. Хотелось быть похожим на Олега Кошевого и Сережку Тюленева.

В 1956 году пошли слухи, что Хрущев прочел на съезде закрытый доклад о культе личности Сталина. Вскоре его содержание стало известно не только партийцам, но и всему населению.

С этого года и началась для меня новая эпоха. Эпоха прозрения.

Взрослея, я многое узнавал и о себе, и о своей стране. В истории моей семьи (как, впрочем, и в истории каждой семьи), как в зеркале, отразилась история страны. Прадед мой, Трофим Васильевич, – кузнец. Дед, Афанасий Трофимович, – сельский учитель. На десятый год советской власти его лишили избирательных прав. За что? Хоть и сельская, но интеллигенция – ненадежный народ!

Он стал «лишенцем». Для того чтобы его не сослали, он уехал работать туда, куда ссылали, – в город Соликамск. Там были десятки концентрационных лагерей.

Мой будущий отец как раз там и сидел. Он был донской казак. Но в Соликамске он не задержался. Отсидел положенный срок, вышел, познакомился с моей мамой, «родил» сестру и меня и загремел дальше, уже в Сибирь.

Как всякий живой человек, я врал много – друзьям-товарищам, всевозможному начальству, своим близким. Но с высокой трибуны или в своих фильмах – не врал никогда. Легко ли было, существуя в искусстве, в идеологическом, так сказать, ведомстве, не погрешить против совести? Сблазн был велик: быть обласканным начальством, угодить самому Суслову... За этим следовали внеочередные звания, государственные премии, цацки на грудь, комфортные условия жизни, соблазнительные поездки за рубеж...

Я снимал в те времена безыдейщину (на Их взгляд): «Робинзона Крузо», «Тома Сойера», «Детей капитана Гранта»... Сейчас – когда свобода слова, когда говори что хочешь, – я и сейчас снял бы эти фильмы точно так же. Была однажды возможность согрешить, пойти против своей совести. Когда я работал над фильмом «Место встречи изменить нельзя». Это ведь не столько детектив, сколько социальный фильм. Соврать или умолчать можно было... Но мы сумели удержаться. «Место встречи» хоть и со скрипом, но появилось на голубых экранах.

Поэтому фильм и живет так долго – три десятилетия. Вот сейчас, когда я пишу эти строки, в соседней комнате, где работает телевизор, показывают – в тысячный раз! – «Место встречи изменить нельзя», все пять серий – нон-стоп.

Наступил апрель 85-го.

Выступил Горбачев, объявил о революции сверху – о перестройке. Призвал каждого гражданина лично участвовать в судьбе отечества.

Я с головой бросился в омут общественной жизни, в политику. Моя гражданская позиция не могла не отразиться в моих фильмах.

Так что это уже третья на моей памяти Россия. В ней я и живу, и работаю по сей день.

## У-У, арестант!

Отца у меня не было. Все разговоры об отце в семье пресекались. Став взрослым, понял: мама не хотела портить детям биографию, хотела, чтобы они получили высшее образование. У самой была жизнь – тяжелее не придумаешь, так хоть дети...

Вспоминаю: когда бабка сердилась на меня, ворчала:

– У-у, арестант! Вылитый отец...

«Ага, значит, отец был арестантом...» Спросить некого – и мама, и бабушка, и дедушка умерли к тому времени. Попросил сестру написать в Ростов (о том, что он был донской казак, мы знали).

Пришла бумага:

«Говорухин Сергей Георгиевич, 1908 года рождения, осужден на три года концентрационных лагерей... Бросил камень и произвел выстрел в окно, где проходило заседание деревенской бедноты...»

Ему было 20 лет.

Стало что-то проясняться. Видимо, отсидел в Соликамске три года, вышел, познакомился с мамой, «родил» сестру и меня и снова «загремел». Основания были (достаточные для того времени – 1937 год): во-первых, донской казак (казачество тогда пытались ликвидировать как класс), а во-вторых, однажды уже был судим. В анкетах я так и писал: «Умер в Сибири приблизительно в 1938 году».

Справочка для упертых коммунистов. Концентрационные лагеря придумал не Гитлер. Эта идея могла родиться только в здоровой половине полушария вождя мирового пролетариата. (Вторая половина полушария головного мозга у него была поражена.)



## Ловлю мух

Не осмелюсь сказать, что жизнь моя была богата какими-то исключительными событиями. Но кое-что все-таки было. Кое-где побывал, многое видел. Встречался с Великими. Бывал и в опасных передрыгах. Казалось бы, есть что вспомнить, записать, оставить внукам. Однако на память чаще всего приходит не большое и исключительное, а так, всякая ерунда, какие-то обрывки воспоминаний из детства, из юности. Ну вот, к примеру.

Голодный 1947 год. Лето. Встаю с рассветом, ловлю мух. В августе в деревенской избе их тучи. Нужно быстрым взмахом руки поймать муху в ладонь, прижать чуть-чуть, чтобы обеспамятить ее, и отправить в спичечный коробок. На все это уходит минут пятнадцать. Иногда одним взмахом удается поймать двух, а то и трех насекомых. Коробок полон. Сую в карман маленькую краюшку хлеба – это мой завтрак и обед, – хватаю удочку, и бегом по деревенской улице. У последней избы ждет меня приятель. Наиль, татарин, мой одноклассник.

С высоченного обрыва – самого высокого на всем побережье Волги – спускаемся к великой реке. По тропе бежать трудно: чуть превысил скорость – и уже не суметь остановиться, – упадешь, переломаешь все кости. Мы мчимся по осыпям. Тут и бежать не надо, осыпь – миллионы мелких камешков – сама несет тебя вниз, только успевай перебирать ногами, чтобы не упасть.

Иногда, ради острых ощущений, мы уходим по высокому берегу до ближайшего леса. И спускаемся к Волге неизведанными путями, то есть напролом, через заросли орешника и густые очаги крапивы. Крапива старая, выше человеческого роста. А на нас ничего нет, кроме трусишек и худых рубашек. Орем благим матом, скатываемся к реке – и сразу в теплую быструю воду. Ах, какая же она была, Волга моего детства! Не стоячая мертвая вода, как нынче, а чистая, быстрая, сильная, поистине Великая русская река.

(Позже, в университете, из всего марксизма я запомнил только одну замечательную фразу, сказанную Энгельсом: «Не надо радоваться нашим победам над природой, за каждую такую победу она жестоко мстит». Обуздали Волгу, понастроили плотин, вот она и отомстила. Теперь миллионы людей живут на берегах гнилого болота.)

Да, Волга была другая. Отплывешь на двадцать саженек – на сорок тебя снесет течением. Пока купались, пропустили утренний клев. Закинули удочки, да куда уж там – попались на крючок пара ершей да баклешек. Этих маленьких серебристых рыбок называют на Волге поразному в разных местах.

Мы с Наилем разожгли костерок на берегу. Пора завтракать. Просовываешь сквозь ерша ивовый прутик и поджариваешь на огне. Рыбка приготовится раньше, чем прутик сгорит. Макаешь черствый хлеб в волжскую воду, и с жареной рыбкой... Бывали после этого у меня изысканные обеды и даже однажды завтрак с королевскими особами, но вкуснее этого завтрака на берегу Волги ничего не помню. Днем, до вечернего клева, делать нечего, купаемся до одури, угадываем названия пароходов. Это такая игра: пароход еще версты за три, а уже нужно угадать название. Вот показался из-за поворота высокий, трехпалубный, со стройными обводами. Это «Клим Ворошилов». А снизу, против течения, тяжело шлепает колесами низкий, широкий, с черным дымом над трубой. «Спартак»! – кричит кто-то из мальчишек. Но пароход приближается, и уже можно различить, что надпись над колесом длиннее, она из трех слов. «Память тов. Маркина». Такие вот бывали названия.

К концу августа пароходы снизу идут зеленые – это если смотришь на них с высокого берега. Вся верхняя палуба завалена арбузами – камышинскими, астраханскими.

Вниз по течению сплавляют плоты. Маленький черный буксир тянет за собой километровый плот. На середине плота – дымок. Вокруг костерка сидят люди. Наверное, едят уху. Им там приволье, плотогонам, – с плотов можно ловить стерлядь сетями.

Плоты сгоняют в Сталинград, который восстанавливается ударными темпами.

Кое-кто из мальчишек постарше ухитряется доплыть до плотов, забраться на бревна и даже попробовать ушицы. Потом плотогоны их, конечно, прогонят:

– А ну, малыцы, сигайте отсюда! Дом-то свой давно проплыли...

Мальчишек сносит течением километров на пять. Весь оставшийся день они бредут босиком по острым камням и едва успевают к вечернему клеву.

А вот и клев начался. Тут уж только успевай взмахивать удилицем. Мухи в спичечном коробке давно кончились, ловлю мотылей, насаживаю на крючок.

Темнеет. Пора домой. На кукане у меня штук двадцать рыбешек и большой, плоский, кривой, как ятаган, серебряный чехонь. Начинается этот немыслимый подъем в гору. Идешь, идешь, ноги уже не держат, оглянешься назад, а Волга – она тут, рядом, под ногами плещется – кажется, ничего не прошел. Валишься от усталости на землю.

Вода покрылась золотом. Ни волнушки, ни ряби, только крупная рыба иной раз всплещет хвостом, и пойдут от нее широкие масляные круги. Снизу, вдоль берега, идет лодка, нагруженная хворостом и сучьями. Мальчишка моих лет сидит на корме, правит коротким веслом, а отец, впрягшись, как бурлак, в широкую лямку, идет берегом, тащит на бечеве (веревке) груженую лодку.

И снова нескончаемый подъем. Бывали у меня в жизни высоченные вершины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, но тяжелее этой волжской горы, на которой стоит городок Тетюши, не было...

У ворот меня давно поджидает кошка. Облизывается, мяукает от нетерпения. Кидаю ей пару рыбешек.

Мама вытаскивает из русской печи горшок с тыквой, ставит на стол крынку молока. Хлеба нет. Он стоит дорого. Каждое утро мы покупаем у соседей – они сами пекут его – небольшой, граммов на шестьсот, каравай темного душистого хлеба. Это на весь день, на всю семью. Но зато тыква, нарезанная кусками, такая вкусная, сладкая. Она весь день томилась в печи.

Потом я сажусь на лавку, мама ставит мои ноги в таз с горячей водой... а дальше – провал в памяти, темнота.

Утром встаю, ловлю мух...

Какое счастливое было время!

## Первая любовь

Первый раз я влюбился сильно, по-настоящему, очень рано. Я любовался ею, засыпая, думал о ней. Хотелось дотронуться до ее полной груди, прижаться к теплему животу.

Она была воспитательницей в нашем детском саду.

До шести с половиной лет, почти до школы, мама брала меня с собой в женскую баню. Сорок второй год, война, маленький городок на Каме. О ванне, о душе там и не слышали.

Однажды мы ее встретили в бане. Мама остановилась, заговорила с ней. Я деликатно отошел в сторонку. Понимал, что нехорошо, не положено, но не мог оторвать глаз от ее волшебного тела. У Зинаиды Серебряковой есть картина «В бане». Молодые женщины, красавицы, с упругими бедрами, длинными русыми волосами, с налитыми, чуть опущенными под своей тяжестью грудями моются в бане. Чудо, как хороша, как притягательно красива эта картина!

Так, наверное, выглядели и эти две молодые женщины, полные сил, здоровья, еще нерас-trаченной красоты. Моя любовь почувствовала недетский взгляд, прикрылась тазиком, который держала в руке. Да и мама что-то почувствовала.

Больше меня мама с собой в баню не брала.

## В бараках

Почти все свое детство и юность я прожил в бараках. Было два счастливых года в маленьком городишке на Волге, а потом опять большой город, бараки. Помню, я уже в старшие классы ходил, а спал на полу, под столом. На столе – сестра, студентка университета. Маленькая, 12-метровая, комнатка, и в ней – мать, бабушка, мы с сестрой, а за занавеской кашляет, умирает от чахотки мой дед.

У Высоцкого есть песня про «коммуналку»: «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная»... А тут на девять барачников одна. Жуткое дело.

В бараках жили рабочие Казанского авиационного завода. Люди в основном воевавшие, прошедшие убийственную войну.

Главным развлечением у нас, пацанов, была свалка. Высокие горы отходов из заводских цехов. Десятки или даже сотни тонн сверкающего великолепия. Блестящая стальная стружка, втулки, гайки, шайбы, болты, медные и алюминиевые пластины, разноцветная проволока и прочие детали. Часами бродили мы по металлическим склонам этих гор, отбирая все, что радовало глаз и могло пригодиться в мальчишеском хозяйстве.

Жили в бараках по-разному. Бывало, песни вместе поют, бывало, ругаются.

Подперев бока, одна соседка кричит на другую, которая позволила неуместно отозваться о лучших достоинствах ее супруга:

– Ах ты, сучка стрептоцидовая!.. Ты чо, пробовала?! А не пробовала, так и не говори... У мово Василия х... как деталь точеная!..

По праздникам иногда дрались.

Кто-то из поверженных, утирая красные сопли, грозил обидчику:

– У-у, Демафродей!..

Кто этот загадочный Демафродей, я так в юности и не понял. Только через много лет догадался: Демафродей – это же гермафродит!

В соседнем бараке, в маленькой комнатухе, поселился новый сосед. Николай, демобилизованный старшина. Поступил слесарем на завод, учился в вечерней школе. Мы с ним сошлись. Я ему помогал с алгеброй и геометрией, он меня учил жизни.

Как-то зашел участковый. Зайнулла, татарин.

– Мало-мало документы хочу посмотреть...

Николай только что вернулся с работы, голый по пояс – плещется под умывальником. Кивнул мне:

– Возьми там, в тумбочке...

Я выложил на стол паспорт, какие-то справки о ранениях, комсомольский билет, орденские книжки. Участковый начал с орденских книжек.

– Орден Красной Звезды... Карашо... Еще орден Красной Звезды... Карашо... Орден Славы... Медаль за Кониг... Кениг...

– Кенигсберг, – подсказал я.

Зайнулла поцокал языком:

– Ай, молодец! Смотри, еще орден Славы... А это?.. За взятие Берлина!.. Видел, какой герой у нас живет?!

– Что ж ты никогда не рассказывал, что Берлин брал? – обиженно спросил я.

– А я и не брал его. На подступах ранило. Еще полгода после войны провалялся. Даже выпить за Победу не довелось...

Вот такой у меня появился товарищ. Сколько ему было тогда? Наверное, года двадцать два – двадцать три. Мне он казался старым.

Как-то я зашел к нему. Читает Горького.

– Вот решил всю классику одолеть. Начал с Горького. Один том в неделю. Значит, тридцать недель. К концу года закончу. Видишь, уже четвертый том добиваю...

– А потом?

– Потом за другого писателя возьмусь...

– Это же невозможно! Вон, Лев Толстой девяносто томов накатал...

– Это для тебя, лентяя, невозможно, а в меня твой Лев Толстой пулей влетит...

Когда наконец нам дали комнату в коммуналке и мы переехали в новые хоромы, Николая я потерял. Интересно, что стало с ним. Кем он стал? Наверняка большим человеком.

Интересно бы узнать, дожил ли он до 90-х годов, до Большого Разочарования. Неужели тоже стал нищим, как и большинство его сверстников, таких же, как он, честных трудяг. Приспособиться к новым правилам жизни никто из них не смог.

Одно утешение: не дожил. Последнее его ранение было очень тяжелым.

Время было бедное, но веселое. К началу пятидесятых и голодухи уже такой не было, и из бараков начали переселять; понемножку, по одной-две семьи выдергивали из бараков и переселяли в новый кирпичный дом.

У нас, пацанов, развлечений было выше крыши. Зимой – каток, хоккей на замерзшем болоте, лыжи.

Кино! По десять раз смотрели «Тарзана» или «Путешествие будет опасным» (знаменитый фильм Джона Форда «Дилижанс»). Откуда, спросите, деньги? По-разному бывало. То мать даст, то в простенок выиграешь, а то протыришься без билета.

Летом – футбол, волейбол, река Казанка, танцплощадка в парке культуры и отдыха. Ну мы, пацаны, конечно, только смотрели.

Жил у нас один морячок в бараках. Бабы его, бывало, спрашивают:

– Вань... Как это ты так ловко девок облеживаешь? Что ни день, то другая...

– Очень просто, – смеялся матрос. – Иду на танцы – кладу в правый карман огурец. Когда мы танцуем, я прижимаю ее к правому борту, она, естественно, уходит влево... И тут мы ее встречаем.

Бабы хохочут:

– Ой, и хулиган ты, Ванюшка!..

За что я особенно благодарен баракам – здесь научили меня драться. И – один на один, и одному против нескольких. Когда в начале сорок восьмого года я появился в казанских бараках, я там оказался самым интеллигентным мальчиком. Со скрипчочкой не ходил, но очень хорошо одевался – мать была портнихой. И еще – запоем читал книжки. И, конечно же, сразу заслужил кличку «Еврей».

Кстати: к вопросу об антисемитизме в сталинской России. «Еврей» был синонимом слова «интеллигент». По крайней мере, так было у нас, на Средней Волге, в самом интернациональном регионе России – здесь живут татары, башкиры, мордва, коми, удмурты, чуваша, марийцы, русские... Если умный, с хорошими манерами, очки на носу, играет в шахматы и на скрипке, читает книжки, значит, еврей...

Уже взрослым человеком иду однажды светлым июньским вечером московскими улочками в районе Ордынки. Улицы совершенно пусты, стоят два мужика, чешут от безделья затылки, разговаривают:

– Смотри, Колян, еще только восемь часов, а уже – никого...

– Как жиды, в натуре!.. Заперлись дома, книжки читают...

Но вернемся в бараки в конец сороковых.

Короче, стал я на некоторое время евреем, и конечно, моим сверстникам захотелось проверить, каковы мои физические данные. Пришлось отмахиваться. Хорошая получилась практика. Многожды пригодилась в жизни.

Как-то, будучи уже студентом первого курса университета, возвращаюсь ночью домой. Троллейбус полупустой – двенадцать часов ночи.

Два шпанистого вида парня – кепочки-шестиклинки, сапоги гармошкой с подвернутыми верхами – пристают к девушке. Пристают вяло, девушка им не нужна, сразу видно. Просто ищут приключений на свою задницу, им надо, чтобы кто-то заступился за нее, и вот тогда...

– Пацаны, – говорю, – оставьте девчонку в покое...

Тут же оставили, повернулись ко мне:

– Тебе чо, больше всех надо?

– Это твоя шмара, что ли?

– Нет.

– Хера ли тогда?..

– Слышь, Колян, студент нарывается...

– Придется поучить. Ты где сходишь?

– На «Восстания»...

– О, глянь, попутчик... И нам туда...

Стоим, ждем остановки. Присмотрелся я к ним. Хиловаты оба. В чистую драку вряд ли полезут. Значит, ножи... Ладно, в крайнем случае убегу. Стометровка у меня – 11,2 секунды. Хрен кто догонит.

Вдруг стоящий позади меня мужичонка лет сорока, по виду работяга, шепчет:

– Не дрейфь, парень, я с тобой сойду.

Думаю про себя: какая от него помощь? Только обуза... В случае крутого поворота и убежать не смогу...

– Остановка «Площадь Восстания», – объявляет водитель.

Сходим. Там у нас большая Доска почета стояла. Заходим за нее. Мужичонка куда-то исчез. «И слава богу!» – думаю.

Начался обычный в таких случаях базар – прелюдия к драке.

– Что ж ты, парень? Тебе это надо было?.. Молодой, красивый... Придется тебя еще разукрасить...

Один уже заходит за спину. «Так, – думаю, – этого, который за спиной, надо вырубать первым...» Поворачиваюсь к противнику, а он, вижу, падает... Что такое?! Но думать некогда, повернулся к тому, что стоял передо мной, и кулак занес... А он бежит... Чертовщина какая-то!

Снова поворачиваю голову назад – передо мной мужичонка из троллейбуса.

– Я ж тебе говорил, не дрейфь!

Иван Афанасьевич (так звали моего попутчика) тоже жил в наших бараках, работал на заводе. В этот раз он нес с работы в авоське завернутый в бумагу кусок точильного круга. Вот этой авоськой он и огрел моего противника по уху.

Мы наклонились к лежащему. Дышит.

– Вы чо, вы чо? – шепчет. – Мы же пошутить хотели...

– Больше так не шути, мандюк, – сказал Иван Афанасьевич.

Мы с Иваном Афанасьевичем еще пару раз встречались в ночном троллейбусе. Увидев меня, он поднимал руку, сжатую в кулак, и приветствовал:

– Рот Фронт!

Но вот что удивительно! Живя в бараках, в нищете, испытывая на своей шкуре весь ужас социалистического быта, я иногда мысленно говорил себе: «Какое счастье, что я родился на нашей советской родине, а не где-нибудь в Америке».

## Учитель

Году в 90-м в Нью-Йорке открылось «Русское радио». Очень вовремя. Из бывшего СССР приехало много пожилых людей; им уже никогда не выучить английского языка, не вписаться в новую среду. Они тосковали.

И тут – с утра до вечера – радио. На родном языке! Новости – с Родины и американские, – полезные советы, встречи с интересными людьми. Поскольку «Русским радио» руководил мой старый друг, Павел Давыдович Палей, я тоже оказался в списке «интересных людей».

И вот я на радио. Отвечаю на вопросы ведущего, затем – звонки радиослушателей. Первый же звонок:

– Славочка! Вы никогда не догадаетесь, кто вам звонит. Это Роза Соломоновна, жена вашего классного руководителя Владимира Львовича Лившица... Ой, у него будет инфаркт!.. Он ушел гулять с собакой и, когда узнает, что пропустил ваше выступление...

– Не волнуйтесь, Роза Соломоновна, – успокаиваю я, – дайте мне ваш телефон, я вам позвоню после передачи...

Владимир Львович был нашим классным руководителем в 9-м – 10-м классах. Он преподавал физику. Но когда заболел кто-то из учителей математики – он преподавал алгебру, геометрию, тригонометрию. То же – и с астрономией, и с историей. Ушла в декрет учительница немецкого языка, симпатичная татарочка со стройными ножками (помню, мы все время лазили под парты, чтобы полюбоваться на ее ножки) – он целую четверть преподавал немецкий. Выяснилось, что немецкий он знает лучше, чем наша стройноногая немка.

Звоню ему.

– Славочка! – рыдает он в трубку. – Дети вывезли меня сюда... Я тут умираю от тоски... Никому не нужен...

О, как я понимаю его. Там, в Казани, где я заканчивал школу, он был нужен всем, он был незаменим. Заслуженный учитель Татарии, сколько он выучил учеников! – весь район знал его в лицо, ему кланялись издали... И вот привезли в чужую среду, русскоговорящую (Брайтон-Бич), но чужую, совершенно ему чуждую...

А с другой стороны – какая у него была альтернатива? Если бы остался... Вспомните, как нищенствовал учитель в девяностых годах. И нищенствует и сейчас, в начале XXI века.

Хорошо помню своих школьных учителей. В основном это были мужчины-фронтовики. Помню нашего историка – в одной и той же, наглухо застегнутой, много раз заштопанной рубашке под пиджаком. Но всегда белоснежной, словно накрахмаленной. Помню, я гадал: что он, каждую ночь стирает, что ли, ее? (Это был 47-й, тяжелейший для всей нашей страны год.)

Я вообще хорошо помню, как были одеты наши учителя – дети остро запоминают это. Владимир Львович, например, приходил на уроки в темно-синем бостоновом костюме, лоснящемся от долгой носки; рукава испачканы мелом. Я даже галстуки его помню – старинные шелковые, из довоенной благополучной жизни. Один – особенно. Темно-синий со светлым горошком. Как у Ленина.

Учитель русского языка, Михал Михалыч, носил офицерскую гимнастерку, перетянутую широким ремнем. Поверх – хоть и старый, но чистый и отглаженный, с выутюженными лацканами пиджак.

– А ну, дети, – говорил Михмих (так мы его звали между собой), – просклоняйте мне слово «дитя». Итак, именительный?

– Дитя.

– Родительный?

– Дитю... Дите...

– Дитяти! Запомните на всю жизнь – дитяти! Дитятей... О дитяте...

Я и запомнил. На всю, как видите, жизнь.

Как-то, помню (это было в пятом классе), мы играли в футбол на задах школы. Я на минуту выключился из игры, подбежал к стене школы, расстегнул ширинку... Кто-то схватил меня за ухо. И так вот, крепко и больно держа за ухо, отвел в учительскую, поставил посреди комнаты и сказал:

– Вот... Полюбуйтесь на него...

Это была учительница литературы Зинаида Павловна Шагова.

Жестоко, скажете. Зато на всю жизнь. Я навсегда запомнил: мочиться на стену школы, писать на ней грязные слова – нельзя!

Я помню всех своих педагогов. Запомнят ли нынешние дети своих школьных учителей? Уже много лет учить детей идут не самые способные и не те, у кого истинное дарование. Мужчин-учителей практически вовсе нет, мужчина – кормилец, ему надо кормить семью – на учительские шиши не прокормишь.

Смогут ли нынешние дети научиться от своих учителей строгости, скромности, изяществу – в одежде? Какое там... Современная учительница, собираясь на урок, обливается горячими слезами – надеть совершенно нечего.

Я всегда кричал на всех углах и повторяю в сотый раз: страна, где учитель нищенствует, не может иметь никакого будущего.



## Разочарование

Когда меня спрашивают: «Ваше самое большое разочарование в жизни?» – я вспоминаю этот случай.

В 1953-м я закончил школу. А куда идти учиться дальше, ума не приложу. О том, чтобы пойти работать, и речи не заходило. А надо бы! Мать, портниха, воспитывала нас с сестрой одна. Как же ей тяжело приходилось! Страшная война, голодные послевоенные годы. Загубленная молодость. Всю себя, без остатка, – детям!

Но мама помыслить не могла, чтобы дети остались без высшего образования. У самой погубленная жизнь, так хоть дети...

Сестра уже заканчивала юридический, а я решил податься в геологи. Романтика, путешествия... О путешествиях я бредил с детства. Любимые герои: Робинзон Крузо, Миклухо-Маклай, персонажи Джека Лондона, Амундсен, Роберт Скотт... Попались мне в то лето две интересные книжки: Чаковского «День начинается на востоке» – про геологов, и «Занимательная геохимия» Ферсмана – про минералы. А когда я узнал, что студенты-геологи носят форму, решение созрело окончательно.

Время было бедное, народ одевался плохо, а студенты геологических факультетов и горных институтов щеголяли в красивой форме: черный шевиотовый костюм, белая рубашка, галстук, черные квадратные бархатные погоны, и на них – золотой вензель университета. Посмотрел я в зеркало, представил себя в этом наряде – неотразим! – и побежал в университет сдавать документы.

И вот ранняя осень, я уже учусь, в ателье заказана форма, я хожу на примерки, и тут... приказом Министерства высшего образования... форму отменили!

## Свидание

Мне было 19 лет, и мы только что свалились со снежных гор к морю. Сначала пешком, одолев Главный Кавказский хребет, через ледники и горные речки, по козьим тропам к озеру Рица, а оттуда на машине в Адлер. Там я впервые и увидел море. Залез по пояс, попил из ладошки – соленое!

А потом был земной рай (именно так я его и представлял) – Сочи. В Сочи мы купили один палубный билет за три рубля и поднялись на пароход «Петр Великий». Поднимается один, бросает с палубы спичечный коробок с билетом – идет другой... Разложили на корме свои спальные мешки, достали консервы, еду, оставшуюся от горного похода... Народ ходит, завидует.

Утром, едва проснулись, – Сухуми. Дендропарк, обезьяний питомник, кофе на песке, удивительные блюда с хитрыми названиями: хачапури, лобио, сациви, чахохбили... Вечером таким же манером поднялись на корабль, на рассвете – Батуми. А потом опять Сочи. И все это за три рубля.

Там, в Сочи, я познакомился однажды с девушкой. Моей ровесницей, ростовчанкой. Знакомство было мимолетным, договорились встретиться завтра. На этом же пляже.

Рассказать, как готовился к любовному свиданию юноша 50-х годов? Во-первых, я выстирал в горной речке (мы жили высоко над городом, на какой-то турбазе) свою единственную парадную рубашку – шелковую, с короткими рукавами, «тенниску». Разгладил руками, разложил на большом камне – она быстро высохла на закатном солнце. Выполоскал, оттер черным базальтовым песком тапочки. Вымылся сам – с мылом, в ледяной воде. На ночь положил свои полотняные брюки на доски под матрац – чтобы сохранились стрелки. Спал плохо, проснулся с рассветом. Намазал мокрым зубным порошком тапочки, когда они высохли, сбил – подошвой о подошву – пыль от зубного порошка.

И эдаким франтом спустился в город. А до свидания еще два часа. «Пойду-ка я морем, по пляжу, тут километра три-четыре, как раз успею».

Часа через полтора путь мне преградила высокая скала, глубоко вдающаяся в море. Я поднял голову – высоко наверху железная дорога, но путь туда преграждают густые заросли ежевики. От франтовского костюма ничего не останется. «Обойду-ка я скалу над морем, я же альпинист».

Полез. Не так уж трудно идти – есть удобные выступы для ног, есть крепкие зацепы для рук. Внизу, метрах в пяти, плещется море. Глубоко – если упасть, не разобьешься. Скоро я был уже на другой стороне скального выступа, прыгнул на галечный пляж, оглядел себя – брюки, тапочки – все чистенько. Иду.

И вдруг вижу, что это? Никак женщина? Лежит на спине, груди растеклись, вроде и нет их... Сделал еще два шага... Но тут уж нет никаких сомнений – сидит голая баба и удивленно смотрит на меня. Разуваю глаза – мать моя, мамочка! – полно голых женщин, молодых, старых...

Получилось, что попал я на женский пляж. С одной стороны он огражден глухим забором, а с другой – естественным препятствием – скалой, выступающей в море.

Мне бы добежать до забора – перемахнуть его, раз плюнуть... Но до того растерялся, что, опустив глаза, пошел обратно. А за спиной – смех, крики: «Миленький, куда же ты? Иди к нам!..»

Вскарабкался я снова на скалу, руки дрожат, сорвался, конечно, упал в воду... Оплыл скалу, вылез на берег и полез вверх по обрыву. Острые колючки ежевики изодрали штаны и

рубашку, да еще наверху оказался свежеекрашенный штакетник... И до назначенного свидания осталось минуты три-четыре...

И зашагал по шпалам на свою турбазу.

Были бы у меня, тогдашнего, сегодняшние мозги, я бы, конечно, пошел на свидание. Рассказал бы все как есть и выглядел бы в глазах девушки героем. Эх, если бы молодость знала...

Да и нравы тогда были другие.

## Как я стал режиссером

Будучи молодым и будучи еще геологом, иду я однажды по городу Горькому (ныне Нижний Новгород) и вижу: снимается кино.

Любимые артисты – Сергей Лукьянов, Хитяева... Все бегают, кричат, суетятся, несут реквизит, переставляют осветительные приборы... И только один человек спокойно сидит в кресле, опершись рукой на палку, ему приносят чай, что-то шепчут на ухо, он кивает головой... Я спросил:

– Кто это?

Мне отвечают:

– Это режиссер фильма. Марк Донской.

У меня в голове тогда никаких мыслей о кино не было, но про себя я отметил: «Вот это профессия!»

А потом жизнь так закрутилась, геологию я бросил, пошел на телевидение, оттуда меня чуть не выперли, пришлось поступить в киноинститут... И вот уже сорок лет сижу в кресле, курю, мне приносят чай, что-то шепчут, а я киваю головой.

Поэтому мой любимый киношный анекдот такой.

Оператора спрашивают:

– Вот ты после стакана водки смог бы снимать кино?

– Смог бы.

– А после двух стаканов?

– Вряд ли... Но гарантирую: все будет в фокусе.

– А после бутылки?

– Смог бы. Но только – как режиссер.

## Одесса

Еще учась во ВГИКе, я уже знал, что буду работать в Одессе.

Одессой я стал бредить еще в детстве. После книжки Катаева «Белеет парус одинокий». Загадочный, прожаренный солнцем, просоленный морем, пропахший семечками, арбузами, свежей и жареной рыбой город. Какое же должно быть интересное детство у тамошних мальчишек! Потом, в юности, в альплагере на Тянь-Шане я подружился с парнем-одесситом. Веселым, остроумным. Как и героя «Паруса», звали его Гарик. Только тогда я и узнал, что Гарик – это прозаическое Игорь.

Потом Одесса вошла в меня, поселилась в моем воображении через Паустовского, Ильфа с Петровым, Бабеля, Багрицкого, Бунина и, конечно, Пушкина.

Но поздно, тихо спит Одесса;  
И бездыханна и тепла.  
Немая ночь. Луна взошла,  
Прозрачно-легкая завеса  
Объемлет небо. Все молчит,  
Лишь море черное шумит...  
Итак, я жил тогда в Одессе...

Я был влюблен в одесские фильмы.

Конец 50-х – начало 60-х – расцвет советского кино. Но даже на фоне этих великих фильмов одесские чем-то выделялись. Свежестью, скромностью (в смысле скромных бюджетных средств), какой-то немастеровитостью, легкостью – как правило, недоступной мастерам.

В Одессе работала молодежь: Хуциев, Миронер, Тодоровский, Ташков, начинала свой трудный путь Кира Муратова. И фильмы они снимали удивительные. Достаточно вспомнить «Приходите завтра», «Жажда», «Весну на Заречной улице»...

Объехав и обойдя пешком чуть ли не весь Советский Союз, в Одессу, которой я бредил с детства, я попал только в 66-м году. Приехали мы с моим однокурсником, Борисом Дуровым, снимать свои дипломные фильмы, короткометражки по двум рассказам не очень талантливого одесского писателя. Ходили мы по этому удивительному городу, вслушивались в удивительную речь.

Вот парень садится в такси, командует водителю:

– На бородатого!

Это значит – на улицу Карла Маркса. Он мог бы сказать шоферу и так:

– Два Карла!

Водитель поймет – значит, пассажира надо высадить на углу Карла Маркса и Карла Либкнехта.

А каково объявлениице:

«Лифт вниз не поднимает».

Одесситы легко понимают друг друга.

– Где кровь проливаетесь? (Это значит – где работаешь?)

– Говорите на меня, как на двух (то есть обращайтесь ко мне на «вы»).

– Скажите, если я пойду по этой улице, там будет железнодорожный вокзал?

– Он там будет, даже если вы не пойдете по этой улице.

Моя художница по костюмам, которая тоже впервые оказалась в Одессе, рассказывает:

– У меня вечером поезд в Ленинград. Подхожу к будке сапожника:

– Можно набить набойки на каблуки?

– Почему нет...

– Когда мне прийти?

Поскреб ногтем небритую щеку:

– Ну... придите через два дня...

– Какие два дня! – возмущаюсь. – Тут работы на полчаса! У меня вечером поезд...

– Хорошо. Придите через полчаса, и уже будут готовы...

Прихожу через полчаса. Набойки готовы...

– Сколько я вам должна?

– Ну... – опять поскреб щеку. – Дайте мне три рубля...

– Какие три рубля?! Тут работы на пятьдесят копеек...

– Какая вы скандальная женщина! Дайте мне три рубля... Я вам дам два пятьдесят сдачи...

Поселили нас в «Куряже». Гостинице Одесской киностудии. «Куряжом» ее обозвал кто-то из предыдущей, хуциевской гвардии, – так называлась колония малолетних преступников в «Педагогической поэме» Макаренко. «Куряж» начинал жить ночью. Часов в 12 вдруг все поднимались и шли на море, спускались по крутому обрыву и купались голыми.

Пушкин:

...С крутого берега сбегая,  
Уж к морю отправляюсь я.  
Потом за трубкой раскаленной  
Волной соленой оживленный,  
Как мусульман в своем раю,  
С горячей гущей кофе пью.

Трубку я тогда еще не курил, и пили мы, конечно, не кофе, а «Шабское, Алиготе» и «Перлина Степу».

Почти в каждой комнате «Куряжа» на стене карандашом был нацарапан телефон «Скорой помощи»: 25–05 – 09 – милая безотказная девушка Надя.

Костя Ершов, актер и режиссер, жаловался мне:

– Всю ночь не спал. Сосед-армянин привел ночью девушку, до утра они возились в своей кровати, и только слышалось оттуда: «Умоляю, ну!»

Однажды подхожу к «Куряжу», на стене объявление:

«Позор! Команда «Куряжа» проиграла команде двора со счетом 12:16».

Ну а дальше объявлялся состав новой команды: Менжевицкий, Чардынин, Говорухин... На воротах Крючков Николай Афанасьевич...

И далее – телеграммы от всех знаменитых футболистов с пожеланиями выиграть «Куряжу» решающую встречу. Игру эту мы с трудом выиграли. Против нас играли мальчишки девяти-десяти лет, среди них будущий знаменитый режиссер и продюсер Валера Тодоровский.

С короткометражками у нас, слава богу, ничего не получилось.

Вызывает нас директор киностудии Збандут Геннадий Пантелеевич (милейший человек, умница) и говорит:

– Горит сценарий, плохой, предупреждаю. Нет режиссера, возьметесь? Сдать надо в этом году, хоть тридцать первого декабря, хоть за пять минут до Нового года. Но – сдать! Иначе нам не дадут на следующий год пятую единицу, и придется увольнять народ. (Одесская киностудия должна по плану снимать пять фильмов в год, если четыре – то, соответственно, и бюджет меньше.) Ну как, беретесь? Вот сценарий, через час жду ответ...

И закрутилось. Уехали мы в Люсдорф (это рядом с Одессой) в Дом творчества, стали клепать свой сценарий. Работаем, читаем книжки про альпинистов, по вечерам ходим в подвальчик, где наливают сухой мускат, легкое, волшебного вкуса вино.

Прошла неделя. Смотрим – получается такая же дребедень. Ни сюжета толкового, ни характеров. Что делать?

Боря вызывает из Москвы своего товарища, Володю Максимова, замечательного русского писателя, будущего редактора парижского журнала «Континент».

Приезжает Максимов. Мы поговорили немного и пошли отметить приезд товарища. По дороге расхваливали наш мускат. Это была решительная ошибка.

Максимов запил. Пьяный Максимов – это очень страшно. Пришлось нам снять комнатку рядом с Домом творчества и поселить его там. Два раза в день мы навещали его. Обязанности наши были простыми. Утром и вечером мы приносили две бутылки «чернил» (червоне мцне – красное крепкое) и выливали ботинок. С постели он не вставал, мочился в ботинки, которые стояли у кровати...

Так создавался фильм «Вертикаль».

Теперь я понимаю, мы здорово рисковали. И если бы не счастливая идея пригласить и заразить любовью к горам Высоцкого (до этого он горы видел только в кино), если бы не Софья Губайдулина, великий композитор современности (это была ее первая работа), ничего бы из нашей лабуды не получилось, и никогда бы нам не стать режиссерами. И не увидели бы зрители ни «Пиратов XX века» (Борина картина по моему сценарию), ни «Место встречи изменить нельзя».

А «Вертикаль», кстати, мы сдавали худсовету 31 декабря за час до полуночи.

## Одесский Привоз

На одесский Привоз (рынок) приезжие ходят не купить даже, а так – побродить, послушать...

Пожилая одесситка продает лавровый лист. Перед ней гора лавровых веников:

– Купи, купи, хозяйка. И в супчик положить можно, и в баньке попариться, и мужа погонять...

Покупательница перебирает пальцами крепкие лавровые ветки. Ногти у нее длинные, яркого алого цвета.

– А ногти-то, ногти! Хоть на елку вешай...

На прилавке лежат тощие, словно дрожащие от холода цыплята. Покупатель:

– Почем синенькие?

(В Одессе синенькими называют баклажаны.)

Рыбные ряды. Бычки, одноглазая камбала, ставридка... Раки. Огромные лиманские раки. В ведро входит от силы пятнадцать штук. Раки живые, зеленые; ведро дрожит от их шевеления, вот-вот упадет.

– Почем раки?

– Пятнадцать – ведро...

Это дорого, очень дорого. Покупатель немножко ошарашен ценой:

– Они что у тебя, стихами разговаривают?

Осень. Морозно по утрам. Здоровая, кровь с молоком, хохлушка продает мед. Руки у нее, шея, верхняя часть груди оголены, но все равно ей жарко – от нее чуть ли не пар идет. Перед ней на прилавке горшки с медом. Деревянной лопаточкой зачерпывает мед, мажет на палец покупателю, тот пробует – облизывает палец. Она:

– Мужчинам лучше этот... И жинка будет довольна, и суседке останется...

Мимо нее проходит негр-студент. Ему холодно; кутается в шарф, на голове зимняя шапка с опущенными ушами. Она:

– Шо, змерз... Маугли?



## Пушкин

Все звали его Пушкиным. Даже директор киностудии, официальное лицо, забывал, что он Володя Мальцев. Когда должна была нагряться комиссия, он вызывал Пушкина и говорил:

– Пушкин, сгинь! Чтоб никто тебя не видел.

Даже мама. Ее спрашивали:

– Пушкин дома?

– Нету вашего Пушкина, – отвечала она.

В детстве был похож на великого арапа – курчавые волосы, смугл. (Сейчас-то уже нет – большая черная борода, седая грива волос.) Ну и одевался соответственно – смокинга не носил. Сегодня и внимания никто бы не обратил, а тогда...

Типичный одессит. Мог побренчать на гитаре, спеть что-нибудь чисто одесское. За шуткой в карман не лез.

Снимали мы «Робинзон Крузо». В Мюсери, на бывшей даче Сталина. Это в Абхазии, между Пицундой и Гудаутой. Жили в домиках, где прежде обитала охрана Великого Кормчего.

Дом, где жил Пушкин, назывался «Вигвам Мутного Глаза». Под окном росли чачевое дерево, опохмелов куст (по версии Пушкина). Каждый вечер «большая пирога» (это оружейная машина) и винваген (операторская машина, камерваген) уходили в ближайшую деревню за «огненной водой». Привозили в больших бутылках местную «изабеллу». Механик съёмочной техники Келдыш (от слова Кела, Костя) брал десятилитровую емкость одной рукой за горлышко и разливал вино в стаканы.

Утром шли на работу. И ничего. Картина получилась.

У каждого была собака. На Кавказе много брошенных собак. И все породистые – пойнтеры, сеттеры, спаниели. Здесь хорошая охота, особенно осенью, – на перепелов. Поохотятся и уедут. А собаки остаются.

Осветитель Степан Моисеевич (мы его звали Стакан Моисеич, тоже выпить был не дурак) ставит осветительный прибор на горку. Надо подкопать ямку под ножку штатива. Зовет собаку: «Шарик, ищи!» Шарик, быстро перебирая лапками, роет ямку. Стакан Моисеич ставит ножку штатива – нет, мало. «Шарик, ищи!» Шарик копает ямку поглубже.

Конец мая. Кончилась неделя дождей, и все поперло вверх, все расцвело – и запахи, запахи немыслимые. Лагерь, где мы живем, окружает лес. Не лес, а настоящие джунгли. Пройти невозможно, деревья переплетены лианами. Какие-то диковинные цветы невообразимой красоты. Ночью по тропкам можно ходить без фонарика – миллионы ярко-зеленых светлячков освещают дорогу, кружатся в воздухе. Садятся на платье. Представьте, идет девушка, наряженная, как елка, – вся в зеленых огоньках.

Море уже теплое, можно купаться. Что мы и делаем в перерыве между съемками.

Лежит Пушкин на пляже – десять километров пустынной береговой линии – и сочиняет стихи:

...На берегу пустынных волн  
Лежал он, вин крепленых полн...

Пристает к моему помрежу, Милочке:

– Милочка, давай поженимся.

– Отстань...

Подходит пожилой реквизитор:

– Пушкин, дай рабочих...

Рабочих нет, и реквизитор это отлично знает. Какие могут быть рабочие в Грузии? За три рубля! Работать?.. Это сейчас грузинские эмиссары якобы от имени своего народа уверяют, что с Россией им было плохо. Но тогда грузины жили за счет России. Все республики (по сравнению с самой Россией) жили хорошо. Но грузины – лучше всех.

Помню – мы жили тогда в Сухуми, – пришла грузинская массовка получать свои три рубля к нашему бухгалтеру Софочке.

Каждый принес большой букет цветов и бутылку шампанского. Правда, тут дело было в Софочке – милое лицо, осиная талия и необъятная белая грудь.

Но вернемся к прерванному разговору.

– Пушкин, дай рабочих...

– Хорошо, – отвечает Пушкин. – Вот я женюсь на Милочке, она родит мне рабочего, и я тебе его дам.

Как-то при нем заговорили: мол, трудно достать двухтомник Михаила Чехова...

Пушкин:

– А я видел на прилавке в магазине.

– Что же не купил?

– А я смотрю: Михаил Чехов. Думал, опечатка.

Сейчас Пушкин сдал. Грива волос стала седой, половину зубов съел вместе с шашлыками; денег нет. Да их и никогда не было, так что разницы он не ощущает. Но чувство юмора не потерял. Единственное, что огорчает – пошутить не с кем. Настоящая Одесса, веселая и находчивая, разъехалась, разлетелась по белу свету. Кто – на Брайтон-Бич, кто – в Хайфу, а кто – в Москву. Неистребимый дух Одессы, с которым и советская власть за восемьдесят лет не смогла справиться, новая украинская власть истребила за каких-то десять-пятнадцать лет.

Когда я изредка залетаю в Одессу, Пушкин с надеждой спрашивает:

– Ну что, привез что-нибудь новенького?

Имеется в виду анекдот или хорошая шутка.

## **«Фиговые времена»**

В центре Одессы, рядом с Оперой, стоит знаменитый Лаокоон (мраморная копия), созданный родосскими скульпторами еще до христианской эры. Лаокоон с сыновьями, обвитые змеями, разумеется, обнаженные – с мужскими достоинствами на виду.

В пятидесятых годах в город приехала комиссия. Партийная дама, увидев трех голых мужиков, смущенно потупила глаза и сказала: «Нельзя ли это... как-то прикрыть...»

Угодливые дураки отбили «крантики» и заменили алебастровыми фиговыми листочками.

Наступили семидесятые, более свободные времена. «Крантики» решили вернуть на место, объявили чуть ли не конкурс... Победил один скульптор, у него в письменном столе лежали отбитые «крантики» – когда-то сохранил на память.

## Тимофей Левчук

«Великий» украинский режиссер Тимофей Левчук навсегда останется в истории украинского кинематографа.

Как герой анекдотов. Ничего путного он не снял, но вечно попадал в какие-то истории.

Однажды осенью Левчук выбирал место для съемки. Широкая бескрайняя степь. Прохладно. Стоят автобусы, съемочная техника, группа – человек пятьдесят. Ждут.

А Левчук все ходит по степи, ищет кадр. Казалось бы, ставь камеру в любом месте и снимай – вокруг один и тот же пейзаж.

Кого уж он там изображал, Великого кобзаря или Александра Довженко, но все ходил по степи с вдохновенным лицом, опираясь на суковатую палку. Наконец остановился, стукнул палкой о землю, сказал:

– От туточки и будемо сниматы...

И провалился по пояс в яму с говном.

Летом на этом месте стояла кошара с пастухами, они вырыли яму для отхожего места. Уходя, присыпали яму землей...

## Артистка

Я ее присмотрел еще в очереди к трапу самолета. Скромная провинциалочка, одета бедновато, толстая книжка под мышкой, ни саквояжа, ни женской сумочки. Но статья!.. Русые волосы, простое русское лицо, высокая белая шея с родинками у ключиц, крепкая грудь, бедра... Таких надо в кино снимать, терпеть не могу нынешних «селедок»...

Я летел на Камчатку. Ученые предсказали извержение потухшего вулкана Толбачек. А мне как раз были нужны кадры извергающегося вулкана для нового фильма.

В самолете места наши оказались с ней рядом. Едва погасло табло, я закурил сигарету. Стрельнула глазом в мою сторону. Держится отчужденно, уткнулась в книжку.

Я достал вторую сигарету.

– Позволите?

– Курите уж...

– А вы?

Посмотрела на меня внимательно. Неловкими пальцами вытянула из пачки сигарету.

– Чем это вы так увлечены?

Захлопнула книжку, показала обложку. Станиславский, «Моя жизнь в искусстве».

– О! Тогда я все про вас знаю. Ездили поступать в театральное училище? Так? Провалились...

Улыбка милая, простая. Осветила лицо и погасла, только в глазах еще дрожат отблески света.

– Поступила. Только в другой институт. Педагогический имени Крупской.

– Вот те нате...

– А что делать? Там все по блату. Папа – режиссер, мама – артистка, дядя – гардеробщик в театре. Надо уж или гору талантов иметь, или «свою руку»...

– А вы сами про себя как думаете? Есть у вас талант, нет?

– А конечно, есть, – посерьезнела она. – Иначе бы не удумала в такую-то даль ехать. Я пою хорошо, на аккордеоне играю... Передразнивать кого хошь могу...

– Тогда надо добиться своего. При чем здесь педагогика...

– А я и добьюсь. Поучусь вот годик, присмотрюсь, куда-чего... Обтреплюсь малость в столичной-то жизни. Нахальства наберусь. Чего я в своем Усть-Камчатске-то видела...

Я рассмеялся. Ах, хороша девка! И ведь станет, рупь за сто ставлю, что станет артисткой, добьется своего.

– Чего смеетесь? – спросила строго.

– Да нет, я так... По-доброму. Ты, наверное, и в самом деле способный человек. Тебя и сейчас можно снимать в кино, без всяких институтов. Хороший типаж...

– А неужели! Эта Теличкина-то ваша... Звезда! Господи, мямля! В минуту три слова едва выдавит... А у тебя нет знакомых-то в кино?

– Есть, почему же... Есть и в кино...

– Свел бы. Помочь не помогут, дак хоть присоветуют чего...

– Можно...

Она посмотрела подозрительно.

– А не обманешь бедную девушку?

– Тебя обманешь, – развеселился я. – Ты вон какая.

– Какая?

– Рациональная, что ли...

– Что своим умом живу? Рация-то – ум по-латыни, так ли?

– Скажем, так...

– Иначе-то пропадешь. Если на дядю с тетей будешь надеяться. Я вот и на твой счет не обольщаюсь. Чего тебе до меня. Однако и от помощи отказываться грех.

Неумело, очень уж осторожно потыкала сигаретой в пепельницу, развернулась ко мне, чуть приблизилась, и очень доверительно:

– У меня, знаешь, большой недостаток есть. Все время на себя чужими глазами смотрю. К примеру, стою перед комиссией, басню читаю, а сама их глазами себя вижу: господа, до чего же нескладная! Колени дрожат, руки плетьюми, лицо в пятнах пунцовых, и одета не так, и стрижена не так... Откуда же легкости или, вот как Станиславский пишет, раскрепощенности появиться?... Или, скажем, с тобой... Ты ведь как думаешь: ага, девчонка из Усть-Камчатска, всю жизнь с медведями жила, чего с ней церемониться. И сразу на «ты». А раз у тебя такой мой образ сложился, я уж и играю его. Ты мне «ты», и я тебе «ты». И не хочу, а играю. И курю вот, и верчусь перед тобой...

А ведь правда. Я смущенно закашлялся:

– Что ж, раз уж так получилось, давай закрепим. Не на «вы» же теперь переходить.

– Да нет, у меня не получится. Это я так... В роль вошла. Вы вон какой... Взрослый.

– Ой! – обиделся я. – Скажите, пожалуйста! Сколько тебе?

– Девятнадцать.

– А мне сорок. Разница всего-то двадцать один год.

– Вон сколько! Пять пятилеток! Если каждую в четыре года.

– Ну, погоди. С годами эта разница начнет уменьшаться. Когда тебе будет шестьдесят два, мне только восемьдесят три...

Она засмеялась, протянула руку:

– Люба.

В Петропавловске мы расстались по-родственному, и пути наши разошлись. Ей добираться в свой Усть-Камчатск, а нам – в глубь полуострова, в страну вулканов.

Ученые не ошиблись. Произошло извержение. Но взорвался не сам Толбачек, земная кора раздвинулась рядом с Толбачеком на совершенно ровной местности.

Мы опоздали. Погода, вертолеты... Словом, когда добрались, новый вулкан уже работал, уже был конус высотой метров триста, по склонам его текли огненные реки, каждые три-четыре секунды раздавался взрыв и десятки тонн расплавленной магмы вырывались на поверхность. Некоторые куски породы взлетают так высоко, что падают уже не на склоны конуса, а вокруг него, как раз туда, где работают вулканологи. Тогда кто-то из ребят кричит: «Бомба!» Все поднимают голову вверх.

Вот она летит прямо на тебя – тяжелый кусок раскаленной породы. Не двигайся, не беги. Подожди еще секунду. Когда станет ясно, что бомба направление не изменит, сделай шаг-два в сторону. И она падает рядом, подняв столб пепла.

Прошло лет двадцать. Однажды в мой кабинет на «Мосфильме» врывается женщина. Красавица! С крупными формами, с открытым русским лицом, с гладко убранный светло-русой прической. Легкой походкой приближается к моему столу, говоря на ходу:

– Вам провинциальные артистки не нужны?

– Нужны, – отвечаю. – Особенно с такой статью.

– Ну вот она я...

– К сожалению, снимаю фильм, где одни мужики...

– А помните, как мы с вами на Камчатку летели?

– Люба, ты?!

Мы расцеловались.

– Ну где ты, что ты?

– В столице. Правда, сибирской. Ведущая актриса, между прочим. Заслуженная... Должны народную дать.

– Садись, рассказывай...

Актрисой она, конечно, стала, не могла не стать. На следующий же год поступила, причем в лучшее училище – в Щуку. Ну а дальше банальная история. Крутая любовь на третьем курсе, ребенок... От курса отстала, кино прошло мимо. Диплом все-таки получила, вернулась в свой Усть-Камчатск. Два года прослужила, ее отметили, пригласили в другой, более крупный театр, потом еще в один, еще крупнее... Двое детей, счастлива, муж, слава богу, не артист...

А она, конечно, была замечательная актриса, я это чувствую. Жаль только, кино ее не заметило.

Я написал: была...

Начал новую картину, вспомнил про Любу, звоню в театр.

– А Любви Павловны больше нет.

– Что случилось?!

– Автобус... Ехали на выездной спектакль... Грузовик на встречную полосу... Ей как раз только что народную дали...

Эх, Люба, Люба...

## Мужество

Что такое мужество?

Это когда человек не позволяет страху смерти руководить своими поступками.

Мужество – привилегия не только мужчин. Женщины, даже самые женственные из них, часто бывают мужественнее представителей противоположного пола.

Настоящий мужчина – это не бицепсы, не высокий рост и отсутствие живота. Для таких сегодня нашли точное и немного презрительное определение – мачо.

Настоящий мужчина – это человек, способный отстоять собственное достоинство, защитить себя, женщину, ребенка, Родину, наконец.

Таким был герой моего фильма «Ворошиловский стрелок». Его превосходно сыграл Михаил Ульянов. После выхода на экраны фильма мне многие говорили: «И я бы так поступил».

Я бы и сам так поступил, только не уверен – хватило бы у меня мужества.

Чтобы совершить такое, нужно одно немаловажное достоинство – иметь достаточно мужества.

Положительные герои кинофильмов в смертельно опасных ситуациях находят в себе мужество пошутить, поддержать хорошей шуткой парализованных страхом товарищей. Но это в кино. В жизни такое бывает редко. Но бывает.

В конце 80-х годов в Цемесской бухте у Новороссийска утонул пароход «Адмирал Нахимов». Мы жили тогда в Одессе рядом с парокондуктом. Ко мне иногда заходили люди, спасшиеся во время этой ужасной катастрофы.

Запомнился рассказ одной барменши. Звали ее Наташа. Спасательный жилет она отдала подружке, которая не умела плавать. Кстати, она погибла. Наташа и сама не умела плавать, поэтому даже не пыталась прыгнуть в воду; так, держась за поручни, и ушла вместе с пароходом в морскую пучину. Но тут образовался какой-то воздушный пузырь, который и вытолкнул ее на поверхность. Прямо к плоту.

Как по-разному, рассказывала она, вели себя люди на плоту. Ночь, кромешная мгла, куда плыть, неизвестно. Огни Новороссийска милях в пятнадцати. (Потом выяснилось, что берег был рядом, в двух-трех кабельтовых, но – ни огонька.) Кто-то плачет, кто-то молится, кто-то без сознания. Словом, картина французского художника Жерико «Плот медузы».

Старший пассажирский помощник (потом его отлучили навсегда от моря) вынул мокрый бумажник и считает деньги; подплывающим к плоту людям кричит:

– Нельзя, нельзя! Плот переполнен...

Словом, ужас!

«Вдруг вижу, – рассказывает Наташа, – плывет к плоту парень из оркестра. И, подплывая, кричит:

– Вам музыканты не нужны?!»

Вот это мужество.



## Каждое утро с одиннадцати

1984 год. Взялся экранизировать «Дети капитана Гранта».

Я уже давно понял, что наши дети перестают читать, а значит, в их воспитании не будут участвовать великие духовные педагоги, воспитавшие десятки поколений. М. Горький говорил: «Лучшим в себе я обязан книгам». То же самое я и про себя могу сказать. С полным основанием это мог бы повторить мой сын. Внуки уже не скажут. Они в Интернете. А Интернет – не книга. Из него можно вычерпать информацию, а книга воспитывает чувства. Человек, не приучивший себя к чтению, путешествующий по жизни без книги, – ущербный человек. В этом я глубоко убежден.

И вот решил я вернуть детям с экрана свои самые «потрясные» книги, те, что в детстве перевернули меня, произвели сильнейшее впечатление. Потратил на это десять лет. «Робинзон Крузо», «Том Сойер» и вот теперь Жюль Верн, вечный спутник юности.

Что-то я разбежался во вступлении. Оно серьезное, а рассказик, вернее, зарисовочка, которую я собираюсь поведать, пустяковая. Ну, что делать. Таков мой стиль, точнее, манера: никак не могу обойтись без этого «несносного, с закрученным хвостиком, нравоучения».

Итак, снимаем Жюль Верна. Сначала – выбор натуры для будущих съемок. Путешествуем в машине по Крыму и Кавказу. В машине, но на пароходе. Такой пароход-паром «Грузия», на котором капитаном мой друг Толя Гарагуля.

Опять отвлекусь.

Гарагуля – меценат, поощритель искусств, друг всех знаменитых писателей, актеров, художников. Кого только из знаменитостей я не видел на его судне. И Володя Высоцкий с Мариной Влади много раз с ним плавали. Про меня уж и говорить нечего.

Гарагуле – 60. Он воевал, был стрелком-радистом на бомбардировщике. Чудом выжил (мало кто из стрелков-радистов совершал хотя бы по три-четыре вылета в незащищенной стеклянной кабине). Гарагуля строен, подтянут, мужественное крестьянское лицо; каждое утро сорок минут плавает, потом зарядка. Любимец женщин. Жена ревнует, часто просится с ним в плавание – если корабль на местной линии, а не за границей. Поэт Г. Поженян сказал как-то: «Шестидесятилетие Гарагули – позор для всех сорокалетних».

Новый корабль свой Гарагуля ненавидит. Какой-то нелепый, с обрубленной кормой... Прежняя «Грузия» была красавица. Стройных обводов, с красивой наклонной трубой, с высокими мачтами. Трофейное, взятое по репарациям, судно – «Ян Собесский».

Тогда много ходило по Черному морю трофейных судов: «Адмирал Нахимов» (бывший «Берлин»), «Россия», «Украина», «Петр Великий», не помню уж, как они прежде назывались. На смену им пришли обрубки, похожие на хрущевские пятиэтажки, – только на воде. Сейчас на Черном море нет ни старых, ни новых кораблей. Все продали в «окайные годы».

Когда я плаваю с Гарагулей, мы на всех стоянках уходим в горы, потом шлепемся по городу, пьем кофе, приготовленный на песке.

Как-то в декабре зашли в обезьяний питомник в Сухуми.

Видим такую картину: мартышка раскачивается на лиане, а вторая подкралась, схватила ее за хвост, и давай раскачиваться тоже. Первая орет от боли, а вторая, такое впечатление, улыбается от удовольствия.

Подошла уборщица, рассказывает:

– Вот эта, что качается на хвосте, – ее братик. Это он мстит. Когда он только родился, старшая взревновала. Однажды я убираюсь в клетке, а она, у меня за спиной, схватила братика и бросила в мусорное ведро. Думала, я не замечу и выкину его...

Гарагуля, человек оригинальный и самостоятельно мыслящий, имел вечные нелады с парткомом пароходства. Партком его и съел. Чуть-чуть, год-два, не дожил он до того времени,

когда парткомы перестали играть главную роль. И его, здорового, полного сил капитана, отправили на пенсию. Он этого, конечно, не пережил.

«А где, бишь, мой рассказ несвязный?..» Уж и забыл, о чем хотел рассказать. А, вот! 1984 год, Новороссийск, восемь утра. Собираемся на берег. Шофера добудиться не можем. Водитель у нас молодой парень, одессит, уникал: ничего не читал, ничего не видел, нигде не был, ничего не знает. Всему удивляется:

– А это что там белое на горе?

– Снег.

– Снег? Летом?! Ништяк!

– А это что?

– Магнолия.

– Магнолия? Ништяк.

Только что женился, рассказывает:

– На морду она противная, но фигуру многие хвалят.

Мы смеемся.

– Нет, правда, многие хвалят.

Водителя так и не добудились. Всю ночь шлялся по палубам, по барам и музыкальным салонам. Удивлялся всему, ничего же не видел в своей жизни. Забрал я у него ключи, и мы съехали на берег.

Машина у нас очень «удобная» для путешествий. Советский джип «Нива». Создана для путешествий, для рыбалки, охоты. Четыре наших тощих рюкзачка едва влезают в багажник. Тимур Зельма, оператор, и Валя Гидулянов, художник, сидят на заднем сиденье – вылезают оттуда на карачках, долго разминают затекшие члены. Удобная, ничего не скажешь, машина.

Абрау-Дюрсо. Подъехали к пляжу, надо окунуться, жара сумасшедшая. У пивного ларька под железной раскаленной крышей – очередь. Мужиков двадцать с банками, бидонами. Алкоголь с одиннадцати, им еще париться на жаре минут тридцать.

Проклятое время! Сколько замечательного советского народа перемерло в этих очередях у винного отдела в магазине, так и не дождавшись одиннадцати! К слову сказать, винные отделы тогда называли в народе очагами сопротивления.

Разделся, полез в море. Вода теплая до отвращения, а народу-у... Вспомнил одесский анекдот:

– Хаим, ты что не купаешься?

– Да пока не жарко, а писать я не хочу.

Пробрался наконец между телами, выплыл на чистую воду. Впереди плывет какой-то мужик. Далеко плывем, уже за буйки зашли. Навстречу нам из солнечного марева появляется еще один пловец. Издалека плывет, из Турции, что ли? Вот оба мужика поравнялись. Тот, который из Турции, спрашивает:

– Который час?

– Около одиннадцати...

– Куда же ты плывешь?

– Ой, я и забыл! – мужик развернулся, и оба, торопясь, поплыли к берегу.

Вот такая тогда дурацкая была у нас (алкоголиков) житуха.

Года два назад вынужден был поехать в Америку. После долгого перерыва. Не люблю эту страну, и «демократию ихнюю» не люблю. Долгое сосуществование двух миров дало свои результаты. Мы у них переняли самое плохое (Солженицын пишет: «Открыли «железный занавес», и оттуда хлынула к нам одна навозная жижа»), и они переняли у нас самое плохое.

Живу в Нью-Йорке в отвратительном отеле. Курить нельзя, даже в номере. Окна не открываются, кондиционер терпеть не могу. Промучился всю ночь, спускаюсь в бар. Время – без пяти одиннадцать. Говорю бармену-негру:

– Плесни чего-нибудь!

Замахал руками, замотал головой:

– Нет, нет, нет! Только после одиннадцати...

## Великая княгиня

Как-то едем мы с Зурабом Чавчавадзе мимо «Президент-отеля».

– Давай к Леониде зайдём, – говорит он.

– С ума сошел, час ночи!

– Ты что, не знаешь Леониду Георгиевну?

Когда мы позвонили, Леонида Георгиевна ложилась спать.

И вот мы, два нетрезвых дурака, ввалились среди ночи к великой княгине. Пили чай, добавили по рюмочке, рассказывали анекдоты, порой довольно рискованные, она хохотала, сама вспомнила что-то смешное; накурились до одури, уходили, как из газовой камеры. Она расцеловала нас на прощание, а потом, наверное, надев шубу, всю ночь проветривала гостиничный номер.

Я смотрел на нее – ни капли усталости на лице. А было ей тогда далеко за семьдесят.

Грузинская княжна Леонида, из знатного грузинского рода Багратионов, вышла замуж в эмиграции за великого князя Владимира Кирилловича, прямого наследника русского престола. Вошел я в эту семью по рекомендации того же Зураба Чавчавадзе; он был доверенным лицом царской семьи. Жили они в самом центре Парижа, на rue Rivolie.

Помню, в первый раз подхожу к дому, думаю, на какую кнопку нажать, вижу – идет старушка, нагруженная авоськами. Совершенно наша русская баба, только авоськи иностранные. Улыбается мне. Так мы и познакомились с Леонидой Георгиевной.

Подхватил я ее пакеты с едой, поднялись в квартиру, она представила меня великому князю. Князь высокий, поджарый, одет не по-домашнему, при галстукке. Держится прямо. Передвигается по комнатам, садится в кресла, встает – легко, по-спортивному. И чем-то очень похож на покойного государя.

Все они, Романовы, на одно лицо. Помню, приехали мы в Зимбабве посмотреть на одно из чудес света – водопад Виктория. Входим в старинный, позапрошлого века, английский отель. Над центральной лестницей парадный портрет Николая Второго. «Как он сюда попал? – думаю. Потом догадался: – Это же Георг V, двоюродный брат Николая!»

Великий князь водил меня по комнатам, показывал старинные портреты великих князей, государей, мы перелистывали с ним альбомы фотографий. Мне все было интересно, я как раз готовился к съемкам фильма «Россия, которую мы потеряли». Потом пили чай в гостиной, рядом вертелся пес Мишка, длинношерстный, палевого цвета «дворянин». Заговорили о собаках.

Я рассказал, какая у нас беда с нашим бассетом Антипом. Вдруг во время прогулки падает на землю и орет благим матом. Врачи ничего понять не могут.

– А вы привезли рентгеновский снимок? – спросила Леонида Георгиевна.

– Жена меня заставила взять, велела показать в Париже собачьему доктору.

– Дайте его мне. Я посоветуюсь с нашим врачом.

Наутро я передал ей снимок, а еще через день – была суббота – позвонил.

– Здравствуйте, Ваше Высочество. Это я, такой-то...

– Леониды Георгиевны еще нет. Уехала к доктору. Позвоните часа через два.

Звоню через два часа. Уже смеркалось.

– Вы знаете, ее еще нет. Я уже сам начинаю волноваться...

Появилась она только в девятом часу вечера. Оказывается: поехала к доктору, тот уехал за город, в предместье; она – туда, он ушел в гости; нашла его в гостях, доктор взглянул на снимок и сразу выписал лекарство; потом она вернулась в Париж и еще долго искала дежурную аптеку.

Лекарство, которое привезла великая княгиня, оказалось чудодейственным. Хватило двух таблеток, и наш Антип до конца своей короткой жизни забыл, что такое боль.

## **Париж, Париж**

Историю эту мне рассказал в 1967 году Саша Милюков, гвардии капитан в отставке, Герой Советского Союза.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.